

ЧТОБЫ ЗНАЛИ, ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Лет пятнадцать назад сплавлялся я на плоту вниз по Оби. Поздним вечером пристал к заросшему ивняком берегу. Четыре бревенчатые избы на нем, чёрные, нежилые, — всё, что осталось от села Тополёвая Пристань, крохотным кружочком отмеченного на карте Томской области. Судя по водонапорной башне, длинным завалившимся изгородям из жердей, пустым складам, заброшенной кузнице, сельхозорудиям, ржавеющим возле неё, силосным траншеям и коровнику, Тополёвая Пристань была небольшой деревней. Из каких соображений бывшие жители так называли её — непонятно: одни сосны здесь, берёзы, и ни одного тополя. Вместо пристани — пологая канава, прорытая с берега в реку.

Я привязал плот к таловому кусту и пошёл вдоль заросших бурьяном заборов, чтобы размяться после долго сидения на скамье у руля.

В блёклых лучах заката сиротливо белел на взгорке невысокий обелиск — памятник сельчанам, не вернувшимся с войны. Низенькая загородка вокруг него разрушилась от времени и дождей, краска облезла на ржавой звёздочке. Сорная трава

густо проросла в почерневшей оградке, калитка в которой давно никем не открывалась. Прискорбно выглядели на потемневшей штукатурке памятника фамилии тополёвцев, навсегда ушедших отсюда в грозном 1941-м. Кто вспомнит об этих героях — защитниках Родины, отдавших за неё самое дорогое — жизнь? Кто скосит траву и побелит памятник? Кто положит букетик полевых ромашек на его постамент?

В глубоком раздумье стоял я у памятника тем, кто гулял по этому берегу, работал в колхозе, жил, любил, смеялся, веселился на деревенских праздниках и с надеждой на возвращение уходил на фронт. Двадцать четыре фамилии безмолвно напоминают о них. Многие буквы выцвели, смылись дождями, но всё же в сумерках угасающего дня я смог разобрать восемнадцать фамилий. С охватившим меня тревожным чувством тоски, печали, безысходности, щемящим душу, в одиночестве стоял я с непокрытой головой у памятника, всеми забытого.

С каждой минутой становилось темнее, и нужно было позаботиться о ночлеге, запастись сушняком для костра. Второпях, обжигая руки крапивой, я наскоро оборвал бурьян вокруг оградки, наломал букет буйно цветущей поблизости черёмухи и шиповника, алеющего пышными соцветиями, и возложил его к подножию обелиска.

Лёжа в палатке, вслушиваясь в шелест обских волн, плескавшихся неподалёку, долго не мог заснуть. Думал о том, что отчалою завтра от унылого берега — и навсегда уйдёт в небытие скромный обелиск, установленный, исходя из начертанной на нём даты «9 мая 1975 г.», к тридцатилетию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранним утором, зябко поёживаясь от речного холода, я выбрался из палатки с фронтовым офицерским планшетом отца, раненного осколком мины в бою под Прохоровкой на Курской дуге. Над рекой плыл сизый туман. В клубах его где-то вдали прогудела моторная лодка. Лебединый крик серебряно-трубным звуком раздавался над прибрежной заводью. Свист утиных крыльев, рассекавших прохладный воздух, то и дело слышался надо мной.

Я вынул из планшета походную общую тетрадь, карандаш и, пристально вглядываясь в буквы, размытые дождями, опалённые солнцем, потрескавшиеся от морозов и ветров, переписал фамилии погибших воинов. Шесть из них

я так и не смог прочесть. Я не знал, зачем это делаю. Необъяснимое чувство вины и стыда за тех, кто, гонимый рыбацкой страстью, пронесился мимо на моторках, овладело мною. Слёзы наворачивались на глаза, когда одну за другой списывал фамилии с памятника.

«Эти трое и те двое — братья... И эти двое — тоже... А это, наверное, отец и сын, фамилии их стёрлись... Только инициалы: И. П. и В. И...» — предположил я по оставшимся буквам. «Чтобы знали... Чтобы помнили...» — твердил я, сдерживая дрожь то ли от утренней свежести, то ли от прикосновения к святости, к вечности, к минувшему, хранящим тайны гибели безвестных мне героев, плач и стоны их матерей, жён, детей, сестёр, невест.

Вглядываясь в надписи, я живо представлял себе обездвиженные страхом лица женщин, бравших письма из рук почтальона, словно слышал их крики, разносившиеся в избах, где на столах рядом с ломтями хлеба и чашками с молоком и горячей картошкой лежали безобидные на вид бумажки — похоронки.

«...Пал смертью храбрых...» — сообщалось в них, и, ещё не осознав до конца смысл извещения, истеричный вопль, слышный на улице, оглашал очередную избу, не избежавшую жестокого удара войны. Этот крик как ножом пронзал сердца женщин Тополёвой Пристанки, и скоро вся деревня сотрясалась в неутешных рыданиях. Я словно воочию видел перемазанных сажей, в залатанных штанишках и рубашонках, ребятишек, заплакавших от испуга, не понявших, почему вдруг с воем упала на кровать мама.

«Вот оно, эхо войны...» — подумалось мне, провожая глазами удалявшийся памятник, когда мой плот, увлекаемый течением и подгоняемый ветром, закачался на обских волнах. «Чтобы знали... Чтобы помнили...» — повторял я, запихивая тетрадь и планшет в рюкзак. Где, когда и как намерен был я предать огласке фамилии тополёвцев — об этом не думалось.

И вот, в преддверии семидесятилетия Великой Победы, вспомнился мне затерянный на обском берегу обелиск. Я лихорадочно перевернул кипы старых журналов, газетных подшивок, пожелтевших рукописей, блокнотов в поисках той походной.

«Где-то должна быть... Неужели выбросил? Нет... Не прощу себе этого...» — бормотал я, перелистывая очередную

исписанную тетрадь. Но вот она! В коленкоровом переплёте, чуть заплесневелая, подмоченная во время долгого путешествия на плоту от Новосибирска до Салехарда и далее на теплоходе до Карского моря. Никогда не выбрасывать старых блокнотов! Господи! Как я благодарен самому себе за то, что сохранил тетрадь, а главное, за памятную запись, сделанную в туманное и холодное июньское утро на берегу Тополёвой Пристани: «Чтобы знали, чтобы помнили!»

Вот они, перед вами, дорогие читатели! Люди из никому не ведомой приобской деревни, отдавшие жизнь во славу Отечества. Теперь они будут жить вместе с нами в этих скромных строках:

Усольцев А. В., Усольцев И. В., Усольцев Ф. В., Шантин Г. А., Шантин И. А., Савран И. Ф., Савран А. Ф., Букша Д. И., Буйнов И. И., Ремыга П. И., Дубровин А. И., Гоношенко П. В., Москалюк А. И., Михайлов А. С., Цибуленко А. И., Серебренников И. П., Неводчиков И. Я., Журавлёв Ф. И.

Вечная слава героям, павшим за Отечество! Помолитесь за убиенных воинов, люди! Помяните их словом Божьим. И в память о них зажгите свечу.

ДЯДЯ КОЛЯ-ТОРПЕДОНОСЕЦ

Жизнь любого человека достойна хорошей книги — интересной, содержательной, поучительной. Благополучная жизнь или несчастная, праведная или нечестивая всегда может послужить темой для произведения. Тому достаточно примеров в классической литературе. А хорошая ли будет книга — это зависит от таланта автора. Сумеют журналист, писатель, драматург ярко отобразить судьбу главного героя романа, повести, пьесы, рассказать, как сложилась его жизнь, чего достиг или, напротив, лишился, — книга затронет душу читателя, западёт в неё увлекательным, эмоциональным содержанием, взволнует, не оставит равнодушным. Эту прописную истину лишний раз подтверждает забавная на первый взгляд, но вместе с тем грустная история, вспомнившаяся мне в предмайские дни всенародного празднования Великой Победы. За давностью лет не могу сказать, в каком году это было. Где-то в восьмидесятых...

Как-то вечером после беготни по городу в поисках материалов для газетной статьи сидели у меня в редакционном

кабинете коллеги-журналисты Валентин Радченко, Виктор Белов и Павел Тихонов. Мы пили дешёвый портвейн, закусывали сухими твёрдыми конфетами «Школьные» и спорили. Смеялись, в запальчивости били себя в грудь, похваляясь последними публикациями в своей газете, сами себе нравились, талантами себя считали. Мы жаждали выдавать шедевры, славы поиметь, известность приобрести, в большие центральные газеты пробиться. Валентин Радченко, заведующий промышленным отделом редакции, сокрушённо вздохнул:

— Не о ком писать стало... Что путного можно выдать о работах с наших заводов? Серые будни, выполнение планов и сощобязательств. Недавно беседовал с одним токарем, передовиком производства. Ничего интересного... Он с гордостью сказал мне: «Как в начале войны эвакуировали наш завод из Харькова сюда, на Дальний Восток, я встал к этому станку и уже более сорока лет стою за ним». Представляете?! По гудку на завод... По гудку с завода... И так сорок лет. Кое-как накропал о нём несколько строк...

— Напрасно, старик,— отхлебнув из стакана глоток вина, назидательно сказал Павел Тихонов, собкор Приморского радио и телевидения.— Не разговорил ты человека, не вызвал на откровенный разговор... Глядишь, и нарыл бы чего. Я хоть о ком напишу прекрасный радиоочерк. О любом первом встречном.

— Перегибаете, Паха,— пустив кольца дыма от сигареты «Космос», с улыбкой усомнился Валентин.— У вас на радио — понятное дело... Если нет слов, музыкой заменят их... А ну как сейчас откроется дверь, войдёт какой-нибудь Федя Пупкин — и ты дашь о нём очерк?

— Влёгкую, старик! Спорим?

— Спорим! Если ты пишешь очерк о первом человеке, открывшем сейчас дверь, и он прозвучит по Приморскому радиоканалу, я проспорил...

— Не спорь, Валентин... Паха прав. На любого человека надо смотреть как на персонаж, достойный пера журналиста или писателя... Вспомни пьесу Горького «На дне»...— поддержал Тихонова Виктор Белов, корреспондент заводской многотиражки «Голос труда».

Однако Валентин оставался при своём мнении и протянул руку:

— На что спорим?

— На бутылку армянского!

Валентин подумал, не отпуская Пашкину руку, и уверенно произнёс:

— Нет... На две бутылки коньяка.

— Идёт! Разбивай, Генаха.

Я разбил крепко сцепленные руки спорщиков.

Мы молча и тупо уставились на дверь, нетерпеливо ёрзая на стульях. Каждый из заключивших пари надеялся на выигрыш. Любопытство, кто победит, распирало меня чисто из спортивного интереса: в любом случае часть коньяка мне гарантирована. Сидим, ждём, на дверь смотрим. Со стороны посмотреть — коты мышь стерегут!

В прихожей шаги послышались. Валентин, предвкушая победу, презрительно отодвинул пустую бутылку из-под портвейна. Подмигнул мне: «Сейчас Паха обломается на каком-нибудь заурядном посетителе, невзрачном человечике».

— Ноги в руки, Паха, и в «Рассвет». Директор гастронома — мой знакомый. Брякну ему по телефону, он тебе дефицитный коньяк продаст.

— Не гони лошадей, старик, — невозмутимо ответил Тихонов.

Дверь открылась, и на пороге возник хромой и небритый слесарь-сантехник дядя Коля по прозвищу Торпедоносец. Вошедший — всем известный выпивоха, частый гость медвытрезвителя, неоднократно уволенный с разных предприятий за пьянство и прогулы. Возможно, когда-то дядя Коля поделился о своём героическом прошлом с приятелями-забуддыгами, но те, сочтя его рассказы выдумками спьяну, добавили к его имени вышеупомянутую приставку, намекая таким образом на бутылку, торпедой торчащую из кармана сантехника.

Я и Радченко дружно и громко захохотали. Белов с глубокомысленным видом снял очки, подышал на них и протёр носовым платком.

— Что ржёте, как жеребцы? — хмуро спросил дядя Коля, вынимая из-за голенища сапога разводной ключ и кося глаза на винную бутылку.

Валентин подбежал к нему и дружески похлопал по плечу:

— Спасибо, дядя Коля! Ну, удружил! Тебя нам сам Господь Бог послал. Ну погляди, какую фигню пьём! Разве это пошло достойно журналиста?

— Я от стаканчика и такой бормотухи не откажусь. Наливай!

— Портвейн кончился. Сейчас вот этот молодой человек, подающий большие надежды, за коньяком сбегает. Плеснём и тебе, дядя Коля... Сдаёшься, Паха?

— Не слушай его, дядя Коля... Пройдём в соседний кабинет. Разговор есть,— приобнял Тихонов слесаря-сантехника, прихватывая со стола диктофон.

— От винта! — сбрасывая руку Тихонова, заупрямился слесарь-сантехник.— Мне сливной бачок отремонтировать надо в вашем туалете. Некогда с вами, лодырями, тары-бары разводить.

Радченко хихикнул довольно: не идёт дело у Пахи! Но Тихонов настоял, и дядя Коля, не сводя глаз с пустой бутылки, дал себя увести.

Они долго беседовали при закрытых дверях, испытывая наше готовое лопнуть терпение. Но вот дверь кабинета открылась, в проёме показался слесарь-сантехник с влажными, покрасневшими глазами. Размазывая слёзы по щекам, он сел на предложенный ему Беловым стул и, разволнованный беседой с корреспондентом радио, извлёк из кармана рабочей спецовки маленький аптечный пузырёк. Взболтал его и влил содержимое в рот. Несколько минут дядя Коля неподвижно сидел, выпучив немигающие глаза, выдохнул и удовлетворённо хмыкнул:

— Хм... Копейки стоит этот пузырёк, а бьёт по плоскостям, как зенитка... В штопор вводит не хуже водки... Бывайте, строчкогоны,— на выходе из редакции небрежно бросил он.— Бачок сливной в другой раз посмотрю. Что-то мотор у меня сегодня не тянет на взлёт.

Павел Тихонов радостно бил кулаком правой руки в ладонь левой:

— Вот такой материал добыл!

Белов сочувственно посмотрел на Валентина: «А я что тебе говорил?»

Дядя Коля, инвалид войны, оказался майором в отставке, бывшим морским лётчиком, командиром эскадрильи самолётов-торпедоносцев. В Баренцевом море он потопил немецкую подводную лодку. Был представлен к ордену, но вместо награды с героя-лётчика сняли офицерские погоны,

судили военным трибуналом и отправили рядовым солдатом в штрафной батальон. Командир торпедоносца после полёта на боевое задание вернулся на базу с пробоинами в фюзеляже и на радостях, что остался жив, крепко поддал вместе с экипажем. Набил физиономию начальнику патруля, вздувавшему сдать на гауптвахту пьяных вдрызг летунов.

«Торпедоносец» — так Павел Тихонов назвал свой радиоочерк, герой которого, Николай Савельев, кавалер орденов Красного Знамени, Отечественной войны первой и второй степени, Красной Звезды, отважный лётчик, топил вражеские корабли, воевал в пехоте, был дважды ранен, освобождая Варшаву и штурмуя Берлин. После разгрома фашистской Германии Николая Савельева восстановили в звании, вернули ему награды и снова отправили воевать. Теперь уже с японцами. Бомбардировщик майора Николая Савельева был сбит японской зениткой над Порт-Артуром. Вместе с экипажем Савельев покинул горящий самолёт на парашюте, но неудачно приземлился на скалистый берег моря. Покалечил ногу и был списан из авиации подчистую.

Отставной майор Николай Савельев плотничал, столлярничал, ремонтировал водопроводные краны, подметал улицы. Неуёмную тоску по небу бывший лётчик заглушал водкой, самогоном, брагой, аптечными настойками, клеем «БФ», стеклоочистителем, одеколоном и даже разжиженной зубной пастой. Некоторые выпивохи говорили, что знает дядя Коля-Торпедоносец секрет выделения спирто-содержащего компонента из сапожного крема.

Всё это было до прозвучавшего по радио очерка о подвигах Николая Савельева, слесаря-сантехника из жилищно-коммунального хозяйства.

Девятого мая инвалид войны, припадая на кривую ногу, приковылял на городскую площадь в парадной морской форме с погонями майора авиации, при орденах и медалях, гладко выбритый и совершенно трезвый. Больше его пьяным никто не видел.

За радиоочерк «Торпедоносец» Павлу Тихонову присудили премию.

Валентин Радченко, неоднократно повторяя: «Ну, Паха!» — выставил перед нами проспороженный коньяк. Выпивать почему-то расхотелось. Мы слушали магнитофонную

запись радиоочерка о героине-лётчице и молчали. О чём думали мои товарищи? Наверное, как и я, о том, что вот ведь как бывает... Совсем неприметный с виду человек, а вдруг так неожиданно раскроется всеми гранями прожитой жизни, что диву даёшься. Так найденный на пыльной дороге перстень, очищенный и отмытый от грязи, может заблестеть золотом, засверкать алмазом. Люди — те же перстни. Одни в грязи не отмытыми лежат до поры до времени, а порой так в ней и остаются. Другие в чистоте сияют радужным светом, если в грязь не упадут.

Мы слушали радиоочерк, озвученный в музыкальном оформлении, подперев опущенные головы руками, облооченными на стол, и не осуждали дядю Колю-Торпедоносца за пьянство. Мы понимали: не может он жить без неба, как гордый сокол или парящий под облаками орёл. И если бы бывший лётчик снова зашёл в редакцию, мы были готовы поклониться ему.

Дяди Коли-Торпедоносца, а правильнее сказать, Николая Савельева, конечно, давно нет в живых, как многих, многих участников битвы с фашизмом.

Поклонимся дедушкам и бабушкам, отцам и матерям, старшим братьям и сёстрам, жертвовавшим собой во имя победы над злейшим, жестоким врагом, ради жизни на земле, ради нас с вами.

Поклонимся, поклонимся, друзья!

НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА

Время неумолимо. Уходят в небытие ветераны. И сегодня уже почти невозможно сыскать тех, кто в суровую годину войны сражался на фронтах Великой Отечественной, кто трудился до изнурения на колхозных полях и фермах, на заводах и фабриках, приближая победу над лютым врагом. Но чем дальше в глубь истории уходят от нас грозные события тех огненных и голодных лет, тем сильнее желание вспомнить забытых участников войны, с которыми довелось встретиться у комбайна на колосющейся ниве, у станка в гудящем цехе или на строительной площадке. О многих из них во время коротких бесед делались торопливые записи в журналистских блокнотах. К сожалению, имена, фамилии

тех простых тружеников, защищавших Родину с оружием в руках или, образно говоря, с серпом и молотом ковавших победу над фашистской Германией, их рассказы о пережитом так и остались лишь на мятых страницах тех блокнотов.

В который раз я достаю из шкафа чемоданчик-«дипломат» с пожелтевшими вырезками из газет со своими в них публикациями. Пройдут годы, и для потомков станут они бумажным хламом, а может, напротив, будут бережно хранимы. Как знать? Во всяком случае, для меня они бесценны.

Я листаю подшивку вырезок с информацией, заметками, очерками, корреспонденциями на разные темы, пробегаю глазами по заголовкам, ищу среди них небольшую статейку о пожилой женщине, колхозном пчеловоде. И хотя прошло сорок с лишним лет, хорошо помню название той зарисовки: «Наталья Павловна». Но вот нашёл, напечатана под рубрикой «О людях села». Да... Как о жительнице таёжной деревни рассказывается в ней. И всего несколько строк о том, как она внесла большую сумму денег на строительство штурмовика Ил-2 и как сельчане поддержали её и всем миром собирали деньги на этот самолёт. Всего несколько строк. Но каких! Именно этот яркий пример самоотверженной помощи фронту пришёл на ум, когда я перебирал в памяти давно забытые имена тружеников тыла в годы войны.

Я прочёл зарисовку «Наталья Павловна», и, словно это было вчера, со всеми подробностями вспомнил жаркий июльский полдень 1975-го...

...Изнывая от жары, подкатил я на редакционном мотоцикле «Урал» к ветхой выбеленной избе с прогнувшейся крышей. В глубине двора, густо заросшего мелкой шелковистой травой, на покосившемся крыльце, в тени под навесом подрёмывала старушка. У ног её, разомлев от жары, вытянулся чёрный кот. Чувствуя неловкость, стесняясь от смущения, подошёл я к старенькой, потемневшей от времени калитке. Заметив незнакомого пришельца, старушка быстро спустилась со ступеней и с приветливой улыбкой подошла ко мне.

— Бабушка, пить хочу, водицы бы кружечку,— взмолился я, ладонью смахивая со лба пот,— просто умираю от духоты и жажды.

— Проходи в избу, родимый... Сейчас напою,— встрепенулась бабуся.

Худая, сторбленная, она, к удивлению, шустро нырнула в подполье и подала мне три глиняные кринки. С медовым квасом. С разбавленным холодной водой соком лимонника. С малиновым сиропом. Я с удовольствием и подолгу прикладывался поочерёдно ко всем горшкам. Одинокая старушка, счастливо улыбаясь, что кому-то сгодились её напитки, уже тащила на стол снедь: отварную картошку, жареного цыплёнка, зелёный лук, малосольные огурцы, деревянную чашку со свежим липовым мёдом, искрящимся золотыми сотами, ломти пшеничного хлеба домашней выпечки, кружки с молоком и сметаной.

Восемьдесят четыре года было тогда этой энергичной и доброй женщине. Время безжалостно избородило морщинами лицо, согнуло стройную в прошлом фигуру, потушило блеск когда-то задорных глаз, но оказалось не в состоянии сломить её бодрый дух. От постороннего взгляда не могло укрыться и то, что в доме и на летней кухне, во дворе всё хозяйски прибрано, вычищено, аккуратно сложено.

На стенах в избе висели фотографии в потемневших грубо сколоченных рамках. Среди них внимание привлекали две цветные: голубоглазая красивая женщина в белой блузке, с тугой косой через плечо, и бородатый мужчина в сером пиджаке, у обоих на груди медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

— То мы с мужем Семёном Ульяновичем,— перехватив мой взгляд, с гордостью пояснила Наталья Павловна.— Царствие ему Небесное,— набожно перекрестилась бабуса.— Работящий был человек... Тоже, как я, пчеловодом трудился на колхозной пасеке. Много тонн мёда сдали мы государству во время войны... Лихая была година! Работали, не жалея сил, чтоб проклятого фашиста одолеть... А как иначе? Родину ведь спасали.

Краешком чистого ситцевого фартука старушка вытерла глаза, пристально посмотрела на пожелтевшую фотографию парня в красноармейской форме.

— Сынок мой Федя... Старательный был хлопчик. Помогал на пасеке. Посмотрел кино, где танки показывали... Тоже танкистом решил стать. В сорок втором в танке сгорел... А это Коля,— перевела она взгляд на фотографию матроса в бескозырке.— Младшенький мой... Подводником был. На

немецкой mine подорвалась его подводная лодка. А как погибли сыночки, отнесла я все денежки в райисполком и отдала, чтобы построили на них самолёт и отомстили проклятым фашистам. Ну а как узнали об этом в нашей деревне, так всем миром стали собирать деньги на тот самолёт...

— И что же? Построили самолёт?

— А как же? Меня даже на фронт возили и тот самолёт мне показывали. И лётчикам наказ давала, чтобы крепче били врагов наших.

Из блёклых глаз по сухому лицу не бежали слезинки. Давно их выплакала безутешная мать.

— Вы столько сделали для победы, ваши сыновья отдали за неё молодые жизни, а живёте в старой хатёнке... Крыша прохудилась, забор повалился, — окинул я удручённым взглядом убогое жилище щедрой, доброй женщины, пославшей сыновей дорогих на битву с жестоким врагом.

— Как-нибудь проживу до конца дней своих в этой избе... В ней память о Феденьке, о Коленьке, о Семёне Ульяновиче. Ни к чему мне хоромы. Ты бы, родимый, узнал в беседе, почему мне пенсию не платят за сыночков, на войне лютой убиенных... Мне, мил человек, думаешь, деньги нужны? Пошто мне они теперь одной, деньги-то? Мне чтобы память о сыночках была... Чтобы вспомнили о них...

Я стоял перед бабушкой, низко опустив голову от стыда за бездушие к женщине-патриотке чинуш из военкомата и райисполкома. Сдалась им какая-то бабка из глухой деревушки!

По приезде в Арсеньев, где работал корреспондентом в редакции газеты «Восход», я навёл справки о Наталье Павловне Смолянко, жительнице села Старая Гордеевка Анучинского района Приморского края. Действительно, в годы войны она сделала значительный денежный вклад в постройку самолёта-штурмовика Ил-2. Её поддержали односельчане. Наталья Павловна принимала участие в передаче самолёта лётному экипажу, выступила на митинге с речью.

Моя небольшая заметка «Наталья Павловна» о простой труженице из таёжной деревни, напечатанная в «Восходе», наделала в районе много шума. И крыльцо ей починили, и крышу перекрыли, и забор новый из штакетника поставили. Жаль, что лишь после ощутимого пинка через газету засутились чиновники.

Вечная вам память, Наталья Павловна и Семён Ульянович! Вечная слава вашим сыновьям Фёдору и Николаю Смолянко!

Пусть в День Победы, в день её семидесятилетия, вместе с праздничным салютом зазвонят колокола по всей России, прославляя её героев — участников Великой Отечественной войны!

МАТРОС КОШКА

Вы, конечно, сразу вспомнили ловкого смельчака, участника обороны Севастополя в Крымской войне 1854 — 1855 годов, одного из героев «Севастопольских рассказов» Л. Н. Толстого. Однако речь в данном случае пойдёт о другом матросе Кошке, защитнике Севастополя в 1941 году, не менее храбром, чем его старинный тёзка.

Настоящая его фамилия — Кошкин Пётр Егорович.

Бывшего краснофлотца, матроса из боцманской команды крейсера «Червона Украина», весёлого, неунывающего, отчаянно смелого Петра Кошкина друзья-морпехи называли матросом Кошкой. На долю этого участника Великой Отечественной войны, человека большого мужества, отваги и негибимой воли, выпало испытать на себе злодеяния фашистов, перед которыми бледнеют ужасы библейского ада.

...В сентябре 1985-го я сидел в купе поезда Москва — Симферополь и в ожидании отправления просматривал газеты, купленные по пути на вокзал в киоске «Союзпечать». Дверь с шумом сдвинулась, впуская белого, как болотный лунь, мужчину преклонного возраста. Он торопливо и слегка прихрамывая вошёл с саквояжем в левой руке и с тростью в правой. Вежливо поклонился вместо обычного «здрасьте», сел за столик напротив меня, отдышался, протянул руку для знакомства.

— Пётр Егорович... Пенсионер,— просто представился он.

Лицо открытое, доброжелательное, с живыми пронизательными глазами.

Я назвал себя и поинтересовался:

— На отдых к морю? Не поздновато ли? Хотя сейчас в Крыму бархатный сезон...

«Поезд Москва — Симферополь отправляется...» — донеслось со стороны вокзала. Мой попутчик вынул из жилета карманные часы, взглянул на них.

— Чуть не опоздал... Пять минут оставалось до отправления, когда на такси прикатил на площадь... Столицу хотелось посмотреть, знаете ли... В кино только и видел её. Когда к Москве подъезжали, в вагоне радио заиграло: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля...» У меня мурашки по телу побежали. Три дня здесь прожил... Но успел побывать в Мавзолее Ленина, в «Третьяковке», в Русском музее, в соборе Василия Блаженного и ещё в других исторических местах... К морю, спрашиваете, еду? Нет... Морем меня не удивишь... Наплавался вот так, — провёл попутчик ребром ладони по шее.

Попутчик показался мне интересным человеком. Мы разговорились...

— Я на сейнере почти всю жизнь матросом в рыбацкие путины ходил...— продолжил он. — Моряки матросом Кошкой звали. Из-за фамилии, думаю... Кошкин я. Возле моря живу... На берегу бухты Нагаево, в Магадане. Срочную на Черноморском флоте служил... Матросом в боцманской команде на крейсере «Червона Украина». Братишки-морячки чаще, чем по имени, матросом Кошкой звали... А как началась война, добровольцев стали набирать в морскую пехоту. Я, понятно, в числе первых записался. Драться хотелось... А на крейсере до фашиста не дотянешься. Только снарядами...

— На каком фронте воевали?

— На каком фронте? — усмехнувшись, переспросил он. — На Севастопольском. Только тогда его фронтом не называли. Голландку с себя долой, в тельнике, в бескозырке, в полный рост — и в атаку. Много там наших братков полегло... Все камни Севастополя кровью морпехов политы... Ранило меня тяжело на Графской пристани — осколок мины пятку оторвал на правой ноге. Сознание потерял, так и в плен попал... Не возьму в толк, почему не пристрелили меня... Долго рассказывать, как всю войну возили в скотских вагонах, плотно набитых людьми, по разным концлагерям. Прошёл Бухенвальд, Освенцим, Майданек, Треблинку, Равенсбрюк... Охрана смеялась и на небо пальцем тыкала: «Выход отсюда только через трубу крематория...» Мне повезло — не сожгли. Немцам требовались рабы для строительства оборонительных

сооружений, железных дорог, подземных заводов, тоннелей, для работы в цехах, в портах, на аэродромах... И много ещё где под ударами палок, под дулами автоматов гнули спину голодные, босые, больные военнопленные... И я в их числе. Вы читали «Божественную комедию» Данте Алигьери?

— Да... И что?

— А то, молодой человек, что девять кругов ада, по которым прошёл Вергилий, в сравнении с гитлеровскими лагерями смерти показались бы ему лёгкой прогулкой по преисподней... Самый зловещий из них — Маутхаузен. Неподалёку от австрийского города Линца. Кормили узников жидкой баландой из гнилой брюквы. Били железными прутьями... Просто так... Ради собственного удовольствия. К ночи заставляли нагими ложиться на бетонный пол, залитый водой из брандспойта, покрытый льдом. Окна в бараке эсэсовцы зимой открывали настежь, а летом запечатывали наглухо, чтобы узники задыхались от жары и духоты.

Пётр Егорович спокойно, как о чём-то обыденном, говорил об ужасах концлагеря. Отвернувшись к окну, смотрел на пробегавшие мимо перелески в багряно-жёлтом уборе, на поля с видневшимися на них тракторами, автомобилями, на речки, блестящие под осенним солнцем в обрамлении кустистых берегов. На миг взглянул в мою сторону, и я заметил, что лучистые глаза его наполнились слезами. Я слушал его, сжавшись в комок от волнения, и хотя от страшных подробностей рассказа волосы дыбились на голове, не мог представить и толики страданий, испытанных этим убелённым сединой человеком. Как-то не вязались с кошмаром концлагеря его дорогой элегантный костюм, блестящие туфли, белоснежный воротничок сорочки, галстук в полоску и с заколкой в виде золотого якорька, серебряная цепочка часов, золотые запонки с опалами...

— Понимаю... — повернув ко мне строгое, без прежнего радушия, лицо, сухо сказал мой попутчик. — Вам, как журналисту, в блокнот яркий эпизод надо... Как наши братишки, обвязавшись гранатами, под танки бросались... Как в штыковую шли один против десятерых фашистов. Как Берлин они штурмовали... А у меня что? Почти четыре года вой сирен, пулёмётные очереди немецких часовых, ежедневная гибель сотен человек от голода, болезней и казней. Что вам интересного в том, например, как в барак каждое утро входил белобрысый

эсэсовский офицер с охраной из автоматчиков с лающими овчарками и в сопровождении услужливых надсмотрщиков? Эсэсовец проходил вдоль строя узников, еле стоявших на ногах, и начинал «чистку»... Натягивал на руку перчатку со свинчаткой в ней и бил в лицо всякого, на ком задерживал взгляд выпученных пороссячьих глаз. Если человек удержался на ногах после удара, у него был шанс в этот день таскать носилки с кирпичами босиком по острым камням... Если падал, его, ещё живого, волокли за ноги к печам крематория. Мне стоило невероятного терпения, преодолевая боль в стопе, прыгать на пальцах, не подавать вида, что не в состоянии работать... Я присыпал рану землёй, глиной... Почему не бросился на того эсэсовца, не впился зубами ему в горло? Была такая мысль... Многие, не выдержав мучений, так и делали. Бросались на охранника, но тот успевал выстрелить раньше, чем узник сделает шаг к нему. Я надеялся, что скоро придут наши, дадут в руки оружие, и ещё поквитаяюсь с врагами... Не довелось... Пришли американцы. Освободили... Помытарился, прежде чем вернулся на Родину... Потом в наших фильтрационных лагерях следователи всё допытывались, как в плен попал, не стал ли я агентом фашистов. Показываю им стопу без пятки, а они мне: «А может, ты на стройке у немцев ногу повредил...»

Кошкин промокнул глаза сложенным вчетверо аккуратно выглаженным носовым платком. Пахнуло дорогим парфюмом. Он виновато улыбнулся, смущённый проявленной слабостью. Лицо его уже не было хмурым, светилось прежней добротой, молодым задором и лукавством в хитро прищуренных глазах.

— Хотите правду? Начистоту...

— Да...

— К фашистам у меня нет претензий...

— Вот как?! Не понял...

— Я в том смысле, что враг — он и есть враг. Что с него взять? Пощады от него не жди, как от злого голодного волка... Понять его нельзя, но его можно убить. Но горько мне и обидно, что соотечественники, наши граждане, не признают во мне участника Великой Отечественной войны. Я для всех — бывший военнопленный. Некоторые из них, за всю войну не нюхавшие пороха... артиллеристы дальнебойных орудий, например... механики из obsługi самолётов... снабженцы армии... очень многие бьют себя в грудь,

фронтowymi заслугами похваляются. Про тех, кто в плену был, говорят: «Мы Берлин брали, а они фашистам снаряды подносили!» Хотел бы я, чтобы такой фронтовик без сознания в плен попал... Что он потом сказал бы о себе?

Грустная нотка в голосе Петра Егоровича Кошкина уже не чувствовалась, когда он, вдруг что-то вспомнив, пристукнул ладонью по столику:

— А хотите, интересный случай расскажу? Из мирной жизни. Можете в блокнот записать.

— Конечно.

— Однажды в Охотском море вели мы промысел минтая. К борту нашего сейнера танкер подошёл, чтобы соляркой заправить. Пока горючее перекачивали из него, к нам по трапу поднялись на сейнер несколько человек на замену ушедшим в отпуск. Попутным рейсом на танкере прибыли... В одном из новичков узнал я... кого бы вы думали? Подручного эсэсовцев в лагере Маутхаузен. Он самолично убил многих узников. Мотористом к нам пожаловал... В море решил спрятаться от правосудия.

— И что же?

— Ну, я доложил капитану... Арестовали Хвилю. Под такой фамилией скрывался гад. Тем же танкером на берег отправили запертым в трюме. Судили предателя-убийцу Верховным судом и к «вышке» приговорили. Но сколько ещё таких «хвилей» разбежалось по земле, бродят где-то... А в Севастополь я еду, чтобы пройтись по местам, где принял свой последний бой, возложить цветы у памятника морским пехотинцам, бывшим морякам крейсера «Червона Украина», по-дружески называвшим меня матросом Кошкой. Да... И на сейнере, бывало, тоже кричали: «Матрос Кошка! Поддай швартовый конец!»

Мы расстались с ним на белокаменном вокзале Симферополя. Понимая, что больше не увидимся, Пётр Егорович отечески похлопал меня по плечу, прищурил зеленоватые, с лукавинкой, глаза, улыбнулся, бодрым голосом проговорил:

— Не вешай нос, журналист, у тебя всё впереди. Встретишь ещё настоящих участников войны, увешанных орденами... Бывай здоров, парень!

Он крепко пожал мне руку, подхватил саквояж и, постукивая тростью по асфальту перрона, пошёл на автобусную остановку.

Я пристально смотрел ему вслед, мысленно представляя его матросом Кошкой... В широченных матросских брюках клёш, в чёрном бушлате, перепоясанном пулемётной лентой, с гранатой у пояса, в бескозырке и с винтовкой за спиной. Словно почувствовав мой взгляд, он обернулся, крикнул:

— Жить будем! — и зашагал дальше.

— Будем жить! — крикнул я в ответ.

И подумал: «Мы благодаря вам победили фашизм — злейшего врага человечества. И вы будете вечно жить в памяти потомков, в наших сердцах».

Будем жить!

ПИСЬМА С ФРОНТА

Они лежат на моём письменном столе, пожелтевшие за семьдесят пять лет хранения в ободранном фанерном чемодане, истрепавшиеся по краям. По наспех вырванным из школьной тетради листкам бегут неровные поблёкшие строчки, написанные химическим карандашом. Солдатские письма с фронта, без конвертов, сложенные треугольником, известные как «полевая почта». Их передал мне знакомый бригадир строителей Борис Кулешов.

— Старый деревянный барак сносили, — сказал Кулешов. — В комнате на полу среди всякого хлама разбитый чемодан валялся. Фанерный такой... Крышка у него отвалилась, вот письма и выпали. Хозяин квартиры Михаил Тимофеевич Попов, одинокий старик, жил там. Умер недавно... Так и не дождался обещанного переселения в новое жильё. Ребята из моей бригады собрали письма. Раритеты, говорят... Может, в музей снести?

— А что ещё осталось в чемодане? Фотографии, другие письма?

Кулешов плечами пожал:

— Трактором барак столкнули. Весь строительный мусор на свалку вывезли. Кто теперь знает, что ещё могло быть в том чемодане?

Да... Сегодня эти письма и в самом деле уже раритеты. Они хранят память о тех незабываемых днях... Химический карандаш стёрся на сгибах листков, но всё же многие слова

отчётливо и сурово доносят смысл грозных, полных опасностей дней войны.

«2 ноября 1941 года.

Здравствуй, брат! Никого нет у меня роднее тебя, и поэтому всегда в трудную минуту мысленно обращаюсь к тебе за советом, а если выдаётся свободная минута, спешу поделиться своими горестями и радостями.

Как ты уже знаешь, на третий день войны я пришёл в военкомат и попросился добровольцем на фронт. Недолго пришлось обивать порог, прежде чем мне посчастливилось, наконец, самому взять в руки винтовку и бить подлых фрицев. Конечно, специалисты сейчас нужны в тылу, например, такие как ты, но я думаю, что ты не осудишь меня за то, что я оставил институт и ушёл на фронт. Закончу после войны, и ты ещё увидишь меня инженером.

Сейчас я нахожусь под Москвой. Даже не верится, что фашисты зашли так далеко. Вчера у нас было комсомольское собрание, и все решили стоять насмерть, потому что дальше отступать нельзя. Извини, брат, но сейчас дописать письмо не могу. Они снова идут в атаку...»

«15 февраля 1942 года.

Дорогой Михаил! Прости, что долго не писал. Был ранен и находился в госпитале, но сейчас чувствую себя хорошо. Как лучшего бойца, меня направляют в танковое училище. Очень жаль расставаться с боевыми друзьями, но ведь ты всегда учил меня, что нужно поступать так, как велит долг. До свидания, меня ждут в машине. Напишу из училища».

«16 апреля 1945 года.

Это письмо я пишу тебе, сидя на броне своего танка. Через несколько минут вместе со своими орлами я иду гротить фашистских гадов. Перед нами Бранденбург, и мы будем брать его штурмом. Экипаж моего танка хорош, и все ребята готовы драться как львы, чтобы как можно скорее приблизить час победы.

Может, придётся погибнуть за Советскую Родину, но знай, что для меня это великое счастье, и я рад, что в общее дело победы внёс и свой скромный вклад».

Последнее письмо, судя по ровным строкам, выведенным другим почерком, уже не карандашом, а пером и чернилами, написано в спокойной обстановке затишья, наступившего после капитуляции фашистской Германии.

«15 мая 1945 года.

Дорогой Михаил Тимофеевич! С глубокой скорбью сообщая, что ваш брат, младший лейтенант Алексей Трофимович Попов, пал смертью храбрых за свободу и независимой нашей Советской Родины.

17 апреля, на второй день берлинского наступления, нашей роте была поставлена боевая задача уничтожить вражескую батарею, мешавшую продвижению пехоты. Первым ворвался на позиции гитлеровцев танк младшего лейтенанта Алексея Попова. Он уничтожил несколько орудий и, продолжая преследовать бегущих немцев, устремился по улицам Бранденбурга, но неожиданно из переулка ударил „тигр“. Круто развернувшись, танк Алексея таранил немецкую машину, а через несколько минут по улицам города уже бежали наши бойцы. Боевое задание было выполнено, но Алексей Тимофеевич Попов погиб. Похоронен он в братской могиле на окраине Бранденбурга.

10 мая 1945 года ваш брат Алексей Трофимович Попов за свой подвиг награждён (посмертно) орденом Отечественной войны первой степени.

Командир танковой роты капитан И. Н. Чижов».

Я прочёл письма неизвестного мне парня, не дожившего до Победы несколько дней, и задумался. Семьдесят пять лет прошло со дня капитуляции фашистской Германии... И парню было тогда лет двадцать или больше... Почти век минул! И наверняка не было бы его сейчас в живых, не погибни он там, в Бранденбурге... Но время не властно над памятью о героях Куликовской битвы, Бородинского сражения и других войн, в которых наши соотечественники отстаивали честь, свободу и независимость Отечества.

Слава тебе, солдат Алексей Попов! Ты выполнил свой долг перед матерью-Родиной! Слава всем участникам Великой Отечественной войны!